

Вкус жизни

...Я смутно помню, как пришёл в себя после операции.

Хорошо помню то, что было до неё.

...Помню, как доктор отвёл глаза на мой вопрос: «Ну что, зарежете?». Это я так неудачно пытался пошутить, так сказать, грубой шуткой скрыть страх. Услышать от врача что-то обнадеживающее, типа: «Ну ты чего? Всё будет хорошо!..»

Но доктор отвёл глаза и сказал коротко:

– Надо оперироваться!

И пошёл мыть руки, а меня повезли в операционную...

К этому моменту, говорят, я был чудовищен.

Прошли почти сутки после аварии. Моя правая половина тела словно прошла через бетономешалку. Перелом трёх рёбер, перелом ключицы, ушиб сердца, ушиб правой почки, сотрясение мозга и, вдобавок ко всему, пневмоторакс – обломок ребра проткнул лёгкое. Воздух из этого отверстия попадал в ткани, и меня медленно раздувало как чудовищную грелку. В груди что-то непрерывно свистело и булькало. К этому моменту всё тот же обломок ребра уже перетёр какой-то крупный сосуд и, вдобавок к пневмотораксу, началось лёгочное кровотечение – гемоторакс. Плевральная полость медленно наполнялась кровью.

...Потом я узнал, что принявший меня старый хирург давно уже не оперирует, и, боясь встать к столу, он просто тянул меня до следующей смены, которая, получив меня в мало кондиционном виде, просто не знала, что теперь С ТАКИМ делать?

Тогда я не знал, что главврач Ирина Леонидовна почти пинками погнала хирургов в операционную.

Просто становилось всё хуже и хуже. Помню, меня привезли в смотровую, положили на живот. Было очень холодно. На улице стоял вечер 3 января...

– Сейчас мы тебя обезболим, а потом придётся потерпеть немного... – врач (потом я узнал – заведующий отделением) наклонился надо мной. Что-то коротко кольнуло спину выше поясницы. Потом, помню, как в спину что-то с силой вдавливали. Боли и вправду не было. И, казалось, врачи пытаются продавить чем-то тупым какую-то упругую резиновую ленту. А потом мир взорвался. Было полное ощущение, что кто-то с чудовищной силой ударил меня «под дых», разница была лишь в том, что после удара обычно отпускает через две-три секунды, а здесь секунда шла за секундой, но боль не уходила. Я как рыба хватал ртом воздух, но ни глотка его не попадало внутрь. Секунды растянулись в вечность. Я не знаю, сколько их было. Но не пять и не десять. Пожалуй, большей боли я в своей жизни не испытывал. Мир начал медленно гаснуть, растворяться, уходить куда-то крутыми стенами вверх, и, на самом дне, лихорадочно метался обезумевший зверёк сознания. «Надо как-то задышать, если не задышу то сдохну!» И сам не знаю, как я смог втянуть в себя буквально несколько глотков воздуха, потом ещё, потом ещё. Воздуха было совсем мало. Его хватало ровно настолько, чтобы просто не терять сознание, чувствовать дикую боль и слышать.

Первое, что я услышал, это как врачи надо мной кричали:

– Держись! Не теряй сознание! Не уходи! Скоро станет легче! Не теряй сознание!

...Потом я узнал, что, чтобы узнать есть ли в плевральной полости кровь, они сделали прокол, установили дренаж и из него ударил фонтан крови, скопившейся в лёгком. Находчивый хирург даже успел подставить чистую банку и больше литра моей же крови мне вернули на операции. Но, этот же прокол, фактически «сдул» лёгкое и я начал задыхаться...

То ли врачи не ожидали, что крови будет так много, то ли что-то пошло не так, но потом хирург пришёл в мою палату с бутылкой коньяка и налил мне рюмку за то, что я тогда выкабаркался. Он почему-то боялся, что я, по его словам, «дам остановку сердца».

...Боль уходила очень медленно, как грязь из забитой раковины. Я как-то приспособился дышать «чуть-чуть», мир понемногу опустился и занял своё место вокруг меня. Потом меня перевернули на бок и процедуру повторили, только уже прокол сделали со стороны груди, ниже ключицы. На этот раз боли не было совсем...

А потом меня повезли в операционную.

...Я смутно помню, как пришёл в себя после операции.

В просторном помещении реанимации стояло четыре койки. Пустых не было. Жужжали и шелестели какие-то аппараты. Не было ни боли, ни волнения, ничего. Только какое-то отстранённое вежливое созерцание. Даже при вдохе я чувствовал, как ещё по-разному двигаются разваленные операцией от грудины до лопатки две половинки моего тела. Эмоций не было.

...Думаю, что реанимационные больные в какой-то степени идеальные пациенты. Они ничего не требуют, не нарушают режим и совершенно не мешают лечению...

Конечно, таким я был благодаря анестезии. Через моё тело прокачивали литры различных капельниц, в меня непрерывно что-то вкалывали, вливали, закачивали. Все чувства и ощущения были «притушены» до состояния лампочки «ночника».

Я заметил её только дня через два.

Невысокая, подвижная, улыбчивая.

Возраст определить было невозможно. В линиях зелёного хирургического костюма и специальной шапочке ей было и тридцать и сорок. На языке медиков её должность называлась «младший медицинский персонал». Она выносила «утки», мыла полы, давала попить, если мы просили, меняла простыни и занималась ещё целой кучей не очень заметных, не очень приятных, совершенно не престижных, но таких нужных работ. Она была в отделении самой младшей по должности.

Станным образом она всегда оказывалась рядом тогда, когда это было необходимо. Её рука протягивала «поильник» тогда, когда хотелось пить, она была рядом, когда нестерпимо чесалась нога или вдруг накатывала боль и нужен был укол. Кроме неё были ещё и другие медсёстры, но я их не запомнил. Они были обычными, делали всё как надо, но не запомнились. Может быть потому, что они и были обычными. А вот её я запомнил.

Наверное, день на третий после операции врач разрешил мне соки.

Но соки почему-то казались приторными, и я пил только воду.

Ничего не хотелось.

В этот день в реанимации было полутемно. Не знаю, который тогда был час. Время в реанимации понятие совершенно условное. По крайней мере, для больных.

Я помню, как она вошла в палату и положила на стол рядом с моей кроватью несколько мандаринов. Они были холодные, может быть с улицы, может – с холодильника или окна. Я помню, как лежал и в мои ноздри вошла неповторимая кислинка холодной цедры. Запах ушёл куда-то в подсознание и затерялся там навсегда. Я помню звук очищаемой шкурки, словно кто-то осторожно шагает по глубокому рыхлому снегу; я вдруг понял, что у мандарина несколько разных запахов. Острый, маслянисто-цитрусовый – цедры, приглушенно травяной – молочно-белого «подбоя», почти розовый – у долек.

И я до последнего своего дня буду помнить вкус холодной мандариновой дольки на языке, шампанское буйство выдавливаемых на нёбо капелек льдисто-кисло-сладкого сока, наполняющего рот, его освежающую прохладу, тающие словно пенки плёнки.

Это был действительно вкус жизни. Первый вкус после путешествия в небытие.

Я не помню, сколько долек съел. Наверное, всего один мандарин, но как несколько дней назад боль была вечной, так теперь таким же вечным было наслаждение жизнью.

Со вкусом мандарина в меня вернулась жизнь.

...В день моей выписки я увидел её без привычной зелёной «робы». Видимо, закончилась её смена и она собралась домой. Она была трогательно некрасива.

Худенькая, маленькая, в тоненькой куртке. У неё были больные зубы и точки от угрей, которые она прятала под толстым слоем мейкапа, она была бедно одета. Я знал, что у неё не было ни детей, ни мужа. Ей было хорошо за тридцать.

Но это был один из самых добрых и душевных людей, из всех кого я встречал в своей жизни. И пусть ей воздастся за всю её доброту сторицей!

Благодаря ей у подаренной мне второй жизни есть вкус. Вкус холодного зимнего мандарина...